

Содержание

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК,
ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ3

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО.....129

ПРЕСТУПНАЯ МАТЬ,
ИЛИ ВТОРОЙ ТАРТЮФ337

*СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК,
ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ*

Сдержанное письмо о провале и о критике «Севильского цирюльника»

Скромно одетый автор с поклоном подносит читателю свою пьесу.

Милостивый государь!

Имею честь предложить вашему вниманию новую мою вещьцу. Хорошо, если бы я попал к вам в одно из тех счастливых мгновений, когда, свободный от забот, довольный состоянием своего здоровья, состоянием своих дел, своею возлюбленною, своим обедом, своим желудком, вы могли бы доставить себе минутное удовольствие и прочитать моего «*Севильского цирюльника*», так как без этих условий человек не способен быть любителем развлечений и снисходительным читателем.

Но если, паче чаяния, ваше здоровье подорвано, ваши дела запутаны, ваша красавица нарушила свои клятвы, ваш обед оказался невкусным, а пищеварение ваше расстроено, — о, тогда оставьте моего «*Цирюльника*», вам сейчас не до него! Лучше подсчитайте свои расходы, изучите «дело» вашего недоброжелателя, перечтите предательскую записку, найденную

вами у Розы, просмотрите образцовые труды Тиссо о воздержании или же размышляйте о политике, экономике, диете, философии и морали.

Если же состояние ваше таково, что вам непременно надо забыться, то сядьте поглубже в кресло, разверните буйонскую *энциклопедическую* газету¹, издающуюся *с дозволения и одобрения*, и часика два подремлите.

Разве произведение легкого жанра способно рассеять мрачные думы? В самом деле, что вам до того, ловко ли цирюльник Фигаро провел доктора Бартоло, помогая сопернику отбить у него возлюбленную? Не очень-то смешит чужое веселье, когда у самого на душе тяжело.

Точно так же не все ли вам равно, что этот испанец-цирюльник, приехав в Париж, испытал превратности судьбы и что моим досужим вымыслам могли придать слишком большое значение только благодаря тому, что Фигаро было запрещено заниматься своим ремеслом? Чужие дела возбуждают любопытство только в том случае, когда за свои собственные беспокоиться нечего.

Итак, все у нас благополучно? Вы можете кушать за двоих, у вас хороший повар, верная возлюбленная, а покой ваш ничем не нарушен? О, тогда поговорим, поговорим! Прошу вас, уделите внимание моему «*Цирюльнику*».

Я прекрасно понимаю, милостивый государь, что прошли те времена, когда я, всюду таская с собой свою рукопись и напоминая прелестницу, часто

¹ Газета «Философское и литературное обозрение типографского общества в Буйоне» опубликовала негативный отзыв о «Севильском цирюльнике».

отказывающую в том, на что она всегда горит желанием согласиться, скупое читал мой труд избранным лицам, а те полагали своею обязанностью платить за мою любезность высокопарною похвалою.

О счастливые дни! Время, место, доброжелательность слушателей — все мне благоприятствовало, очарование искусного чтения обеспечивало мне успех, я проглатывал слабые места и подчеркивал сильные, затем с горделивою скромностью, с полуопущенным взором принимал знаки одобрения и упивался торжеством, тем более отрадным, что три четверти его не доставались на долю мошенника-актера.

Увы, какими жалкими представляются теперь все эти ухищрения! Теперь, когда нужны чудеса, чтобы покорить вас, когда один только жезл Моисея мог бы что-нибудь поделать, я лишен даже той силы, какою обладал посох Иакова: больше не существует ни фокусов, ни плутовства, ни кокетства, ни модулирующий голоса, ни театральной иллюзии — ничего. На ваш суд я отдаю мое дарование таким, каково оно есть, без всяких прикрас.

Пусть же не удивляет вас, милостивый государь, что в выборе слога я считаюсь с моим положением и не беру примера с тех писателей, которые позволяют себе небрежно обращаться к вам: *читатель, друг-читатель, дорогой читатель, благосклонный, любезный читатель* — или же дают вам какое-либо другое фамильярное, я бы даже сказал, неблагопристойное, название, с помощью коего эти неосмотрительные люди пытаются стать на равную ногу со своим судьей, хотя ничего, кроме недоброжелательства, это в нем обыкновенно не вызывает. Не было случая на моей памяти, чтобы чванство кого-нибудь

пленило, — добиться от гордого читателя известной снисходительности можно только скромностью.

Ах, еще ни один писатель так не нуждался в снисходительном отношении, как я! Тщетно стал бы я это скрывать; когда-то я имел неосторожность в разное время предложить вашему вниманию, милостивый государь, две печальные пьесы¹, два, как известно, чудовищных произведения, ибо теперь уже для всех ясно, что нечто среднее между трагедией и комедией не должно существовать; это вопрос решенный, все, от мала до велика, о том твердят. Я сам в этом до такой степени убежден, что, если б я сейчас захотел вывести на сцену неутешную мать, обманутую супругу, безрассудную сестру, сына, лишённого наследства, и в благопристойном виде представить их публике, я бы прежде всего придумал для них дивное королевство на каком-нибудь архипелаге или же в каком-либо другом уголке мира, где бы они царствовали, как их душе угодно. Тогда я уже был бы уверен, что мне не только не поставят в упрек неправдоподобие интриги, невероятность событий, ходульность характеров, необъятность идей и напыщенность слога, но, напротив, именно это и обеспечит мне успех.

Изображать людей среднего сословия страдающими, в несчастье? Еще чего, их следует только высмеивать! Смешные подданные и несчастные короли — вот единственно существующий и единственно возможный театр. Я со своей стороны принял это к сведению — и кончено: больше я ни с кем ссориться не желаю.

¹ Драммы Бомарше «Евгения» (1767) и «Два друга» (1770).

Итак, милостивый государь, некогда я имел неосторожность написать пьесы, не принадлежащие к *хорошему жанру*, — я искренне в этом раскаиваюсь.

Затем, в силу некоторых обстоятельств, я рискнул выступить со злополучными «*Мемуарами*»¹, и недруги мои признали, что они не отличаются *хорошим слогом*, — меня за это жестоко мучает совесть.

Нынче я вам подсовываю презабавную комедию, которую кое-кто из законодателей мнений не считает произведением *хорошего тона*, — я в неутешном горе.

Быть может, в один прекрасный день я осмеюсь оскорбить ваш слух оперой, и люди, которые когда-то были молодыми, скажут о ней, что в ней не чувствуется влияния *хорошей французской музыки*, — я заранее сгораю со стыда.

Так, то совершая ошибки, то прося прощения, то попадая впросак, то извиняясь, я до самой смерти буду стараться заслужить ваше снисхождение тем обезоруживающим простосердечием, с каким буду признавать свои ошибки и приносить свои извинения.

Что же касается «*Севильского цирюльника*», то я принимаю сейчас почтительный тон не для того, чтобы вас подкупить, а потому, что меня клятвенно уверяли, будто автору, хотя бы и потрепанному, но все же одержавшему в театре победу, остается лишь на предмет стяжания всех литературных лавров заслужить ваше, милостивый государь, одобрение и быть изруганному на все корки в нескольких газетах. Таким образом, если только вы соизволите пожаловать мне лавровый венок вашей благосклон-

¹ Четыре мемуара Бомарше против советника Гезмана (1773–1774).

ности, то слава мне обеспечена, ибо я не сомневаюсь, что некоторые из господ журналистов не откажут мне в венке своей неблагосклонности.

Один из них, обосновавшийся *с дозволения и одобрения* в Буйоне, уже оказал мне *энциклопедическую* честь, уверив своих подписчиков, что в пьесе моей нет ни плана, ни единства, ни характеров, что она нисколько не занимательна и не смешна.

Другой, еще более простодушный, который, впрочем, не имеет ни *дозволения*, ни *одобрения*, не имеет даже *энциклопедии*, попросту пересказывает мою пьесу своими словами и присовокупляет к лавровому венку своей критики следующую лестную похвалу моей особе: «Репутация г-на Бомарше сильно пошатнулась. Порядочные люди поняли наконец, что когда из него повыдергают павлиньи перья, то под ними окажется противная черная ворона, наглая и назойливая, как все вороны».

Так как я действительно имел наглость написать комедию *«Севильский цирюльник»*, то, дабы полностью оправдать данное мне определение, я буду настолько назойлив, что покорнейше попрошу вас, милостивый государь, судить меня самостоятельно, не обращая внимания на критиков бывших, настоящих и будущих: вы же знаете, что газетчикам часто бывает положено по штату враждовать с литераторами; я буду до того назойлив, что прямо заявлю вам: раз вы взялись за мое дело, то, хотите вы или не хотите, вы непременно должны быть моим судьей, ибо вы — мой читатель.

Вы прекрасно понимаете, милостивый государь, что, если бы вы, дабы не утруждать себя или же доказать мне, что я неправильно рассуждаю, наотрез от-

казались меня прочесть, вы сами допустили бы логическую ошибку, недостойную такого просвещенного человека, как вы: не будучи моим читателем, вы уже не могли бы быть тем лицом, к коему обращена моя жалоба.

В самом деле, если бы, невзирая на то, что я вас известным образом обязал, вам во время чтения вздумалось швырнуть мою книгу, это, милостивый государь, было бы равносильно тому, что во время любого другого судебного разбирательства вас унесла бы из залы заседаний смерть или же какой угодно другой несчастный случай вывел бы вас из состава судей. Вы можете избежать суда надо мной, только превратившись в ничто, сделавшись отрицательной величиной, сойдя на нет, перестав существовать в качестве моего читателя.

Да и какой вам вред от того, что я ставлю вас над собой? После счастья повелевать людьми самая высшая честь — это судить их; ведь правда, милостивый государь?

Итак, мы с вами уговорились. Я не знаю никаких других судей, кроме вас, не исключая и господ зрителей, которые судят лишь в первой инстанции, а затем нередко убеждаются, что их приговор отменен вашим судом.

Первоначально мое дело слушалось в их присутствии в театре, и эти господа много смеялись, так что я уже начал было думать, что выиграл процесс. Не тут-то было: журналист, обосновавшийся в Буйоне, утверждает, что смеялись не над кем иным, как надо мной. Но это, милостивый государь, выражаясь языком судейских, всего лишь гнусная прокурорская ябеда. Моя цель была — позабавить зрителей, и, если

только они смеялись от души, значит, цель достигнута, все равно — смеялись они над моей пьесой или же надо мной самим. Вот почему я продолжаю думать, что выиграл процесс.

Тот же самый журналист уверяет, или, во всяком случае, намекает, что, желая заручиться поддержкой некоторых зрителей, я устраивал для них чтения в частных домах и этим особым почетом заранее их подкупал. Но и это, милостивый государь, есть лишь навет немецкого публициста. Совершенно очевидно, что я ставил себе только одну задачу: ознакомить их с пьесой; я устраивал нечто вроде совещаний по существу дела. Если же мои советчики, высказав свое мнение, впоследствии попали в число моих судей, то, как вы сами понимаете, милостивый государь, я тут ни при чем: раз они чувствовали, что равнодушны к моему цирюльнику-андалусцу, им из деликатности следовало от этого уклониться.

Ах, если б они продолжали оставаться хоть немного равнодушными к этому юному чужестранцу! Нам бы с ним легче было тогда переносить мимолетную нашу невзгоду. Таковы люди: вы пользуетесь успехом — вас принимают с распростертыми объятиями, от вас не отходят, за вами ухаживают, вами гордятся. Но бойтесь оступиться. Помните, друзья мои: малейшая неудача — и друзей у вас как не бывало.

Это-то самое и случилось с нами сейчас же после того наизлополучнейшего вечера. Надо было видеть, как малодушные друзья цирюльника старались замешаться в толпу, отворачивались или же убегали. Женщины, всегда такие смелые, когда они что-либо поощряют, тут надвигали чуть не до бровей

капюшоны и в смущении опускали глаза. Мужчины спешили побывать друг у друга, принести покаяние в том, что они хвалили мою пьесу, и объяснить мою проклятою манерою чтения то обманчивое удовольствие, которое они испытывали. Это было повальное отступничество, истинное бедствие.

Одни, да простит им Господь, как только замечали, что я показался справа, сейчас же направляли лорнеты налево и притворялись, что не видят меня. Другие, более отважные, удостоверившись, что никто на них не смотрит, тащили меня в угол и говорили:

— Как же это вам так удалось обмануть нас? Ведь, сказать по совести, любезный друг, ваша пьеса — это нечто в высшей степени пошлое.

— Увы, господа, я действительно читал эту пошлость так же пошло, как написал ее. Но если уж вы так добры, что разговариваете со мной после моего провала, то вот вам мой совет: чтобы и второй ваш приговор не был опорочен, не допускайте новой постановки моей пьесы на сцене. А вдруг, как на грех, ее сыграют так, как я ее читал? Чего доброго, вы снова дадитесь в обман и еще, сохрани бог, рассердитесь на меня, потому что окончательно запутаетесь в том, когда же вы были правы, а когда ошибались.

Мне не поверили. Пьеса моя была играна снова, и на сей раз я оказался пророком в своем отечестве. Бедный Фигаро, *выпоротый* завистниками в качестве *трутня* и почти погребенный в пятницу, поступил не так, как Кандид¹: набравшись храбрости, мой герой восстал в воскресенье, и ни строгий пост, ни уста-

¹ Герой повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», где было высмеяно учение о «предустановленной гармонии» и свободе воли.

лость после семнадцати публичных выступлений не отразились на жизненной его силе. Но кто знает, как долго это продлится? Я не поручусь за то, что через пять-шесть столетий о нем будут еще помнить, — до такой степени наша нация непостоянна и легкомысленна!

Драматические произведения, милостивый государь, подобны детям. От них, зачатых в миг наслаждения, выношенных с трудом, рожденных в муках и редко живущих столько времени, чтобы успеть отблагодарить родителей за их заботы, — от них больше горя, чем радости. Проследите за их судьбой: стоит им увидеть свет, как под предлогом удаления опухолей их подвергают цензуре, — из-за этого многие из них остались недоразвитыми. Вместо того чтобы осторожно играть с ними, жестокий партер толкает их и валит с ног. Нередко актер, качая колыбель, их калечит. Стоит вам на мгновение потерять их из виду, и, — о ужас! — растерзанные, изуродованные, испещренные помарками, покрытые замечаниями, они уже бог знает куда забрели. Если же им и удастся, избежав стольких несчастий, на краткий миг блеснуть в свете, то самое большое несчастье их все-таки постигает: их убивает забвение. Они умирают и, вновь погрузившись в небытие, теряются навсегда в неисчислимом множестве книг.

Я спросил одного человека, чем объясняются эти битвы, эта ожесточенная война между партером и автором на первом представлении даже таких пьес, которые впоследствии будут нравиться зрителям. «Разве вы не знаете, — ответил он, — что Софокл и престарелый Дионис умерли от радости, когда их в театре наградили за стихи? Мы очень любим наших

авторов, и мы не можем допустить, чтобы радостное волнение оказалось для них слишком сильным и отняло их у нас. Вот почему, стремясь уберечь их, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы их торжество никогда не было полным и чтобы они не могли умереть от счастья».

Каковы бы ни были причины подобной суровости, плод моего досуга, юный невинный цирюльник, встреченный таким презрением в первый день, но далекий от мысли по прошествии нескольких дней воспользоваться своим торжеством и отомстить критикам, приложил только еще больше стараний, чтобы обезоружить их веселостью своего нрава.

Это, милостивый государь, случай редкий и поразительный в наш век мелочных дряг, когда рассчитано все, вплоть до смеха, когда малейшее различие во мнениях вызывает вечную ненависть, когда любая шутка превращается в войну, когда брань, давая отпор брани, сама получает в ответ брань, тотчас же посылает другую, которая затмевает предыдущую и порождает новую, а та, в свою очередь, плодит еще и еще, и так обиды множатся до бесконечности, вызывая у самого язвительного читателя сначала смех, потом пресыщение, затем отвращение и в конце концов негодование.

Я же, милостивый государь, если только это правда, что все люди — братья (а ведь мысль-то сама по себе прекрасная!), я бы хотел уговорить наших братьев-литераторов помириться на том, что к заносчивому и резкому тону в спорах будут прибегать только наши братья-пасквильянты, которые отлично умеют не оставаться в долгу, а к брани — наши братья-сутяги, которые тоже в высшей степени облада-

ют этим уменьем. Больше же всего мне бы хотелось уговорить наших братьев-журналистов отказаться от того поучающего и наставительного тона, которым они распекают Аполлоновых питомцев и вызывают смех у глупости наперекор рассудку.

Разверните газету. Не создается ли у вас впечатления, что вы видите перед собой строгого наставника, который замахивается линейкою или же розгою на нерадивых школяров и обращается с ними как с невольниками за малейшее уклонение от их обязанностей? Кстати, об обязанностях, братья мои: литература — это отдых от обязанностей, это приятное времяпрепровождение.

Во всяком случае, мой-то ум вы уж не надеетесь подчинить в этих играх своей указке: он неисправим, и, как только обязательный урок кончился, он становится крайне легкомысленным и шаловливым и может только резвиться. Будто волан, отскакивающий от ракетки, он взвивается, вновь опускается, снова, веселя мой взор, устремляется вверх, перекувыркивается и, наконец, возвращается обратно. Если какой-нибудь искусный игрок изъявляет желание принять участие в игре и начать перекидываться со мною легким воланом моих мыслей, я бываю рад от всей души; если он отбивает изящно и легко, я втягиваюсь в игру, и начинается увлекательная партия. Тогда вы можете видеть, как удары посылаются, отражаются, принимаются, возвращаются, учащаются, становятся проворнее, даже, если хотите, задорнее, и вся игра ведется с такой быстротою и ловкостью, которая способна и повеселить зрителей, и вдохновить актеров.

Вот, собственно говоря, милостивый государь, какую должна быть критика, и таким я всегда пред-

ставлял себе спор между благовоспитанными людьми, которые занимаются литературой.

А теперь давайте посмотрим, сохранил ли в своей критике буйонский журналист тот любезный, а главное, искренний тон, который я только что отстаивал.

Моя пьеса — не то фарс, не то фарш, — заявил он.

Не будем спорить против кличек. Неудачные названия, которые повар-иностранец дает французским блюдам, ничуть не меняют их вкуса: они становятся хуже только после того, как пройдут через его руки. Давайте разберем буйонский фарш.

К пьесе отсутствует план, — заявляет журналист.

Может быть, мой план слишком прост и потому именно ускользает от пронизательных взоров этого молодого критического дарования?

Влюбленный старик собирается завтра жениться на своей воспитаннице. Юный ее поклонник, как более ловкий, опережает его и в тот же день сочетается с нею законным браком под самым носом опекуна, у него же в доме. Вот основа моего произведения: на ней с одинаковым успехом можно было бы построить трагедию, комедию, драму, оперу и так далее. Не на этом ли построен «Скупой» Мольера? Не на этом ли построен «Великий Митридат»?¹ Жанр пьесы, как и всякого действия вообще, зависит не столько от положения вещей, сколько от характеров, которые и приводят их в движение.

Я же лично не собирался делать из этого плана ничего иного, кроме забавной, неумолимой пьесы, своего рода *imbroglio*², моим воображением владела отнюдь не серьезная пьеса, но превеселая комедия,

¹ «Великий Митридат» (1673) — трагедия Расина.

² Путаницы (итал.). — Примеч. авт.